

Метки (предварительно): au, character study, songfic, воскрешение, некрофилия (неграфичная), упоминания смертей, самоубийств; каноничная смерть персонажа.

Комментарии о сеттинге: переработанный канон. Здесь не упоминается ггшка, Сигурд живёт гораздо дальше в прошлом (в каноне, на момент прибытия ггшки в Нод-край, он мёртв всего 10-20 лет) и немного перевираются детали его кончины. Всё в художественных целях. Здесь нет некропорно и фетишизации трупов/смерти/процессов разложения - нужно подчеркнуть. Я считаю, что Флинс не ебётся в принципе, его либидо атрофировано. Он просто криповая детина с искажённым представлением о жизни, смерти и привязанности.

1.

Самых прославленных героев приходится собирать по кускам: по зубам, по потрёпанным реликвиям с безымянных могил, бережно выкапывать и выкупать у барахольщиков — прохудившееся перо за пару звонких монет, расколотый бесхозный фонарь — за пятак и скидку за красноречие; битый час поверх того торговаться за варварски сорванную с чьей-то шинели брошь, изъеденную коррозией не меньше, чем рассудок бесцельно скитающихся по земле призраков, — чем такой худой товар приглянется кому-то, кроме преданного своему делу некрофилу?

Купец перестаёт считать деньги, подслеповато щурится ему в лицо, и Флинс отвечает самой обаятельной, самой прилежной на свете улыбкой: уважаемому ратнику, в смысле. Я здесь совсем недалеко похоронен.

В Нод-Крае лучше всякого архонта царствует столетний, монолитный порядок: до тех пор, пока над выстуженным зеркалом моря восходит луна, никто в здешних охотничьих угодьях не сыщет покоя.

Флинс до почтительного хруста кренит спину перед торговцем и убирает в суму последние приобретения. Сегодня у него на редкость добрый улов: подлинники вышедшего из обихода снаряжения, кое-где ещё заляпанные въевшейся в бронзовую окантовку кровью (ни один светоносец не умер в своей постели), фляга с затёртой именной гравировкой "С." и кисть правой руки. Необязательно та самая — главное, подходящая по размеру.

Флинс собирает Сигурда по памяти — одного из многих, свой очередной костяной пазл. В его тайнике, дурно тянущем мертвечиной (так сказал Иллуга), благоразумно припрятанном в подполе маяка (так посоветовал Никита, смиловавшись над неподозревающим, бескровным телом, полным эксцентричных увлечений, но лишённым чувствительности ко вкусам-запахам), уже есть вывороченный из воротника клочок пёсего меха, пара увесистых заклёпок с грудины, россыпь железных монет, пожеванные голодающим зверьём ремни, осколок резной рукояти меча и облезлый моток некогда пунцовой шинели.

Чего в его тайнике пока нет, так это тела: в своём обожании Флинс не допускает (преждевременной) вульгарности.

Когда-то в прошлом, когда скрипучий маяк ещё указывал судам путь в море, Охота жестоко обошлась с Сигурдом. Она помнила и боялась его лица, звон его колокольчика, предвещающего резню; она пожелала взять его измором на исходе службы: в ту ночь, когда по земле поползла тень настолько длинная, что затмила собой горизонт, каждый ратник был вынужден оставить отчий дом, обнажить клинок, восстать против бескрайней ночи. Собравшиеся в штабе на краткий совет траурно молчали. Все понимали: старшине должно вести свой отряд на убой.

Деды пересказывали его подвиг новобранцам, склонив головы: тогда, в непроглядной тьме, Сигурд продирался сквозь полчища монстров к пепелищу разорённой деревни, где его воины складывали изнывшие кости, укрывая от глаз Охоты единственного уцелевшего ребёнка. Спотыкаясь о трупы павших товарищей, Сигурд стоял даже после того, как остался один; вооружённый мечом и фонарём, освещающим его праведный, исступлённый гнев, он держал оборону без надежды на подкрепление. Холоден ли был пот, что стекал по его вискам в страшные часы изнурительных сражений? Надломилась ли его воля, когда он, сбитый с ног, наконец заглянул в пасть рокошущей бездны?

Флинс слушал и не слышал эти байки. Он не любил вспоминать, как чавкала жидкая, пропитанная земля под его сапогами, когда он пришёл разбирать слипшиеся груды мертвецов. Разрешение оставить свой пост ему донесли лишь через пару дней после того, как небо над Нод-Краем прояснилось - спасённого из побоища мальчишку к тому моменту уже забрали в штаб. Флинс увидел его краем глаза, когда прибыл докладывать о потерях с копьём и лопатой наперевес. Копать приходилось много: братская могила наполнилась рядами уложенных внахлёст тел. Сигурда среди них не было. По крайней мере, не целиком. Наэлектризованный воздух ещё потрескивал у ушей и носа остатками высвобожденной элементарной энергии: грома и молний на равнине было выпущено столько, что хватило бы, наверное, наплатить энергией целый город. Не то чтобы Флинс много в этом понимал. Он просто выполнял свою работу.

Большая часть неопознанных останков, согласно людским обычаям, была предана мёрзлой земле. Многое осталось как и прежде разбросано по острову: вдоль побережья, вместе с галькой и песком — обглодано, разворочено, обтёсано волнами, разбито птицами на гнёзда. Хоронить мёртвых полагалось только живым, а те денно и ночью держали оборону на стратегических меридианах. Одной луне известно, что из множества свалывшегося на просторах вечной мерзлоты скарба принадлежало Сигурду.

Флинс бережно облюбовывал свои находки, сверялся с замерами и выученными пропорциями. Чтобы выловить из воды подёрнутый илом череп, подходящий по габаритам его инсталляции, пришлось трое суток кряду торчать на обрыве с удочкой. В те дни у него как назло клевало, а полы плаща без конца хлопали на ветру, точно крылья ибиса.

Давно минула эпоха, когда сдерживание Охоты требовало от Нод-Края бессчётных жертв, подобных Сигурду. Теперь подлунная жизнь безжалостно торжествует над смертью. Её упрямство здорово усложняет исполнение задуманного, — впрочем, порядкам луны Флинс однозначно не противник. Земле, породившей Сигурда, явно

виднее в вопросах презервации своего сына. В сколь бы неряшливом виде он ни покоился в её лоне, там ему лежать гораздо тише и надёжнее, чем в консервной клетке бесхозного маяка, куда так и норовят сунуть нос любопытные гости.

От лёгкой безысходности своего положения Флинс начинает застилать люк в подпол засаленным сумерским ковром. Ему порядком докучает необходимость из раза в раз вежливо выставлять гостей за дверь и убалтывать их до посинения, чтобы они бросили привычку комментировать странные ароматы его обители. Подумаешь, парочка сухпайков скисла от сырости. Это меньшая из проблем для живущего в чертоге на вершине кладбища.

История с запахом развивается настолько стремительно, что в канун выдуманного День рождения Никита дарит ему благовония - как ни странно, тоже сумерские - и настойчиво рекомендует окуривать ими внутренние помещения маяка, дабы замаскировать неприятный запах. Флинс, вопреки усталости от потакания человеческим ритуалам, не кривит душой и прилежно исполняет его указания: к часу дня, когда к нему обещают пожаловать первые визитёры, он поджигает все палочки разом, фасует их рядом с дверью и отгоняет едкой вонью сердобольных коллег, а также наведавшуюся с поздравлениями мисс Лауму. Эффект оказывается настолько безупречным, что через пару дней, когда наступает пора возвращаться к службе, форма Флинса продолжает крепко смердеть сумерской розой, будто он с удовольствием обвалялся в пепле от благовоний перед выходом.

Неудивительно, что при такой деловой занятости свозить недостающие кусочки пазла ему приходится по ночам, совмещая приятное с предписанным: дело — с патрулированием безлюдных скалистых пустошей, осторожно разбирая птичьи гнёзда, рассматривая промежутки в мокрой гальке, выменивая объедки у редких зверей на куски вяленого мяса. Те, кто не прячется в нору или в дупло от одного лишь его вида, ведут себя гораздо умнее людей: они не подходят к Флинсу ближе, чем на расстояние пушечного выстрела.

По возвращении из обхода тонкая надтреснутая кость из сумы ложится на стол с заготовками. В полумраке подпола, при дрожащем свете зажжённой лампы, языческий алтарь отдалённо напоминает вороний схрон.

Флинс бережно оборачивает кисть рукавом землистой шинели, соединяет тонкий запястный изгиб с лучевым. Сколько ещё косточек ему нужно отыскать и выточить? Когда-то эта форма была Сигурду в самый раз: кожаный пояс скрипел от натуги, зычных раскатов командирского рёва, и благородные вышивки порфиновых языков плясали на свету и во тьме, как поднятое над головой знамя. Оторвать от него взгляд было невозможно. Флинс запомнил старшину Сигурда именно таким: издали, с достаточно почтительного расстояния, чтобы не быть пойманным за любованием этой неуловимой искрой, ослепительной вспышкой. Одно мгновение — и его жизнь пронеслась мимо. Просвистела над ухом, едва всколыхнув воздух.

Флинс медлит в подсчётах, неосторожно предавшись воспоминаниям. Стоит лишь дать слабину, как кисейные мысли тотчас схватываются, и прошлое вырастает перед ним, точно отражение в зеркале. Оно больше его тела, больше всего, что Флинс может ему

противопоставить, — прошлое манит щемящей тоской по былому товариществу. Флинс не в силах ему противиться. Он склоняется над алтарём и почтительно жмётся к желтеющим костяшкам губами. Его не смущает грязь, ещё не счищенные с костей ошметки земли: долгие годы полевой службы лечат всякое чистоплюйство. Флинс трепещет ресницами и сдержанно, нежно скорбит о том, что пока не может сплести с этой рукой пальцы: его скромной реконструкции недостаёт целого туловища и без малого по четыре фаланги на каждом обрубке, бывшим когда-то и кому-то руками.

2.

Меланхолия его холодна и смиренна, как болтающийся в удавке висельник. Вернее сказать, она-то всегда и была его удавкой: надёжно спрятанной червоточинной, неосторожно вскормленной мыслишкой, вспарывающей нежные ладони чувствительностью. Меланхолия рождалась из поэзии, которой шелестели благородные дамы при дворе и гувернантки в поместье отца. Она кралась в его тени, шла с Флинсом бок о бок, вела его под локоток к своему венцу сквозь картинные галереи, и вот где он по её милости оказался — затянутый узел, услужливо подставленный пенёк и хруст размозжённой трахеи. Животная агония в секунду, когда надламывается подъязычная кость — проверенное, безотказное средство избавления от тяжести тела.

Когда-то он был чист и свеж, словно неокроплённый кровью снег. Годами его, как подобает сыну благородного титула, муштровали вальсировать со стулом и галантно заведённой за спину рукой — Кирилл повторял свои уроки даже в свободное время, зажав вместо деревянной ножки табурета маленький сборник фонтейновской прозы. Его ровесники предпочитали париться в компании сговорчивых банщиц да пропадать на охоте, пока он мерял изящными шагами сад, мелькал среди укрытых пуховой вуалью вишен, а затем срывался на бесшумную трусцу, ускользая из виду отцовских холопов, стоило тем отвлечься. Кровь била в ушах, сердце стучало о рёбра; скорее, скорее, успеть на ристалище! Кирилл мало понимал о смерти - его ум был доверху забит античными эпосами и наставлениями учителей, ещё помнящих гиперборейское величие, а тело перетряхивало от возбуждения и благостно ныло от тренировок, где молодые дворяне сходились в поединке, скрещивали затупленные копыя и мечи, и никто из поверженных не умирал по-настоящему - каждому павшему альву протягивали ладонь, добродушно хлопали по плечу. Им было позволено отдать жизнь только за своего Царя, а Царь был вечен, и вечно суждено было стоять Снежной. Так и жили.

Кирилл не знал ничего, кроме того, что видел в пределах своей золотой клетки. С костлявой ему доводилось сталкиваться лишь на проходной: при дворе Царя жили настолько роскошно и умирали настолько медленно, что порой забывали о смерти вовсе. Войны, стычки и поветрия были уделом живших за частоколом самодуров. Визиты гробовщиков в царский двор проходили для всех незаметно, в равнодушной строгости церемоний, и пляска на костях продолжалась, и продолжался пир. Рождённым в достатке, в его зажиточном излишестве, не участвовать в торжестве было нельзя. Кирилл смотрел пьяно, сквозь разведённые пальцы и блеск драгоценных камней поверх изящного кубка. Смерть изредка задерживалась, чтобы тоже обратить к

нему провалы незрячих глазниц. Он должен был догадаться уже тогда. Догадаться, что сулит её внимание.

Своевременно вершился дружинный самосуд, восставали и кончали на стенах известные воры и именитые бояре — но были и те, кто попросту не выдерживал интриг. Кирилл видал их - изволивших прервать свой век раньше положенного. Их обмякшие сосуды, лишённые упругости и тепла тела; надтреснутые слои пудры, вздутые, синюшные лица, наспех обрызганные душистыми маслами - так при дворе маскировали всякую мерзость и непристойность. Приближенные к погибшим стыдились своего родства, а взявшие их в кольцо сплетен князя судачили, прикрываясь платками и перстнями. При дворе была расхожа присказка: посмертное уродство их совершенных при сотворении тел - плата за проявленную трусость, порочную неблагодарность. Страх посрамить дар Золотого города держал кадетов в узде; железной хваткой, тонкой стрункой выпрямлял молодых дворянок лучше самого крепкого корсета.

Флинс хорошо помнит, как затем эта риторика обернулась крахом. Как боязливо трепыхалось уже его сердце на пороге кончины: тогда он, вскормленный благородной готовностью отдать жизнь за Царя, вместе со всеми своими сородичами вдруг оказался сиротой. Его жизнь стала сущей пустышкой, неразменной монетой под сапожком её Величества Царицы, - в целом мире, чужеродном и враждебном, не осталось ни одного доброго бога, который принял бы и отпел его душу. Опора ушла из-под ног, натянутая верёвка резанула кожу стальным прутом, в слепо распахнутых глазах мелькнуло видение костлявой старухи, алых брызг на снегу и подбитой синицы в челюстях лисы. Сердце, сжавшись от горя, наконец, встало. Ах, что за дивный сон это был.

Кирилл опасался напрягать горло первые несколько недель после пробуждения. Обстановка тогда выдалась на редкость дурная: ветреная и слякотная, подражающая, верно, ранней весне; в пожертвованном для ритуала теле ратника ему было тесно и душно, как в кафтане не по размеру. Кирилл медленно осматривался заспанными, покрасневшими глазами, а перед ним расстился и сиял тысячей солнц оттаявший мир, который успел порядком измениться со времён его погружения в Лету.

Кругом лежали тела. Поле битвы было безмолвно, лишь вдалеке раздавалось воронье карканье. Кирилл внимал клёкоте скорбных птиц и колебался издать лишний звук, страшась, что услышит предсмертные хрипы вместо разумной речи. Не от мертвецов, на которых уже слетелись мухи, — от себя.

Его голос так и не вернулся к нему до конца. Река забвения, приютившая его в своих водах, с нежным шипением притушила куцее пламя, точно мазнула сигарой о дно пепельницы. Спросонья было трудно разобрать, где он, хорошенько выполосканный, теперь начинался и где кончался: течение веков омыло все острые края, душевную резь, запальчивый, непримиримый нрав потомственного аристократа. Вместо старых углей внутри была такая щекотная, бархатная пустота — вкрадчивая и мягкая, в какую можно просунуть руку, а можно набрать камней и смиренно пойти ко дну, как котёнок в мешке. Он больше не мог ни почувствовать вкус соли, ни вдохнуть полные лёгкие сладкого дурмана.

Река журчала ему: возвращайся, Кирилл. В любое время. Она обещала довести начатое до конца.

Годами позже, уже порядком смирившись со своей утратой, Флинс услышал причудливый сказ от беглого музыканта из Фонтейна — о маленькой океаниде, отдавшей свой голос, а затем и свою жизнь ради благой цели. Флинс отблагодарил трубадура блуждающей улыбкой, задумчиво разглаживая недавно заказанную накидку с нашивками — знак его принадлежности к светноносцам. Пусть будет благая цель, пусть будет жертвенность и чистые помыслы, если того требует высший замысел. Так или иначе, всё сущее стремится и сходится в единой точке. И точкой этой для каждого непременно станет смерть.

Он обманул её однажды, разбазарил её милосердие с попустительством и неосторожностью, свойственным отчаянной молодости. Кирилл — безымянный склеп с приоткрытой дверцей; зияющая пасть опустелой могилы, из которой кто-то совсем недавно поднялся и, крадучись, ушёл. В размытых берегах его памяти догнивают горы вызубренных манускриптов, откровения мудрецов старого мира; когда-то Кирилл внимал их секретам и желал понять законы земли, которую ему предстояло если не унаследовать, то по крайней мере защищать. Мудрецы писали: фатум распоряжается лишениями по имени, а имя твоё — есть отражение звёзд на водной глади.

Раньше он разглядел бы в этих строках непревзойдённое изящество: как красиво они возвышали и приближали его к небу и к лунам, сотворившим доблестный род альвийский!

Теперь Кирилл лишь совестливо поминает покойного батюшку и с опаской примеряет клеймо “Флинс” вместо запылившегося титула, дарованного ему мёртвым царством. Негоже ведь ставить себя вровень с теми, кто остался погребён под осколками небесного шипа. Они не сбежали, не ускользнули выющимся ужом через тонкую петельку в сотни лет будущего. Того, что поросло былью, уже не вернёшь.

Флинс выслуживается, чтобы руководство наконец-то определило его смотрителем на маяк, и с большой охотой подставляет зловещему фатуму вторую щёку. Лучше уж заигрывать с судьбой, чем лежать камнем на дне морском, безразличным и холодным, как его старый-добрый мир.

В особенно тоскливые из дней, полные монотонного шуршания бумажек, Флинс вполсилы корит себя за то, что провёл молодость, как подобает *bellatores* — раздольно, возвышенно, упоённо в свальном грехе сражений, головокружительных бальных танцах и в собачьей верности Царю. Его руки не знали ничего тяжелее колец, женских ладоней, копья и стульев; ручной труд, которым кормился простой люд, обходил урождённых белоручек стороной, покуда они оправдывали своё призвание в искусствах, духовной жизни и в парадах под гобеленами знатных семей.

В его новой и, надо признать, бездарной жизни после смерти, бывшим витязям на безбедную старость не заработать; да и в Нод-Крае, по слухам, такой роскоши днём с огнём не сыщешь. Насмотревшись на буйную жизнь торговых кварталов Нашгорода, молодняк штабелями идёт в коммерсанты или разбойники, а потом Флинс снимает их урожай с бледных деревьев близ коммуны Детей Морозной луны, куда они, напоследок припомнив о нравственности, заворачивают исповедаться безотказным жрицам. До почтенного возраста и собственного огородика на балконе с видом на гавань доживают единицы. Что уж говорить о светоносцах.

Флинс заполняет отчёты о поступивших к захоронению телах, не видя перед собою ни букв, ни чернильницы. Какое счастье, что из всех отдавших луне душу ему приходится иметь дело лишь с сослуживцами, и всё же как жаль, что теперь его доля — столь низменный труд. Флинс мажет пером вдоль листа и размеренно мечтает о том, кем мог бы быть, если бы родился под другими звёздами.

Если бы он стал босоногим крестьянином-подмастерьем или, скажем, сыном кузнеца, осмыслившим ремесло вслед за отцом своим, он бы, несомненно, засучил рукава и попытался воссоздать верный клинок Сигурда, сто раз в обед переплавленный на снаряды для нужд Пирамиды.

Если бы он уродился в доме травника или знахаря, он бы нашёл способ вовремя излечить свою тлеющую душу и, быть может, никогда не пробовал бы пить яд из чаши, ведомый морбидным, затравленным доверием к своей меланхолии.

Если бы Флинс мог бы стать кем угодно, но только не собой, он бы оставил многое и вместо этого стал бы ближе к нему — грохочущей вспышке перед закатом, самой яркой в его пост-мортеме.

За всё приходится платить. Флинс, выстрадавши за прегрешения собственной шкурой, знает это. Нынче он затыкает грусть за пояс и со стойкостью оловянного солдата остаётся Флинсом — сладкоголосым и смиренным, недостойным того, чтобы застрять на нём внимание ни людей, ни богов. Таков его удел, такова взятая на вооружение мудрость царских гробовщиков: оставайся для всякого в слепой зоне, и будешь несудим. Всё-таки обмануть смерть, когда ты уже побывал в её объятиях — затея не из лёгких. А Флинс собирается сделать это во второй раз. Сигурду по его прихоти тоже придётся заплатить цену; какую — не знает никто.

На краю исписанного листа рука бездумно заканчивает: приобрести дюжину свечей и пять литров свиной крови. Остановившись, Флинс в немом изумлении смотрит на опрометчивую заметку, прежде чем комкает испорченный отчёт и подбрасывает его к тлеющим поленьям в печке. Придётся переписывать, какая досада.

По давней памяти Флинс направляет опустелый взгляд, следом — тяжёлую руку. Незрячие глаза-пустышки сосредоточенно следят, как неуклюжей строчкой ложится нить, штопая свежую прореху в плаще. В его юношестве шитьё обыкновенно считалось женским занятием, и Флинс никогда бы не подумал, что однажды ему

придётся обучить себя мастерству обращения с иглой (пускай мастерством это самодурство назвать пока ещё трудно).

Форма на его коленях - порядком измученная, но бережно хранимая вещь, доставшаяся ещё от того ратника, что разбудил Кирилла кровавым ритуалом. В донашивании его одежды оказались столько же непрактичны, сколь и обворожительны: в службе они поначалу сковывали движения и вели себя подобно летящему платью, когда старшина гонял взвод Флинса маршем по всей Пирамиде. Деликатно приталенный крой, скошенный подол и высокие сапоги — этот набор скорее напоминал пижонские наряды, которые Флинсу приходилось носить при дворе Царя, чем то, во что предназначалось облачаться перед сражением.

В патрулях и погонях его форма показывала себя не лучше. Полы плаща мели землю лучше всякой тряпки, цеплялись за каждый сук звонкими бляхами и оттого же расходились по швам, словно русалочий хвост. Чинить свой гардероб по собранным лоскутам после каждого такого эксцесса становилось попросту невозможно. Конечно, при желании Флинс мог бы заказать новую форму — менее выделяющуюся и гораздо более тёплую, — но в этом не было ни нужды, ни резона. Он давным-давно приноровился к своему подарку; можно сказать, сроднился с ним, как сроднился с приятным ликом и тем обстоятельством, что ему чаще приходится смотреть на макушки, чем на лица своих собеседников. Незапланированные траты обозначили бы приличную дыру в его бюджете — сейчас, когда он так близок к завершению грандиозного пазла.

Недавно Флинс обнаружил, что мертвечиной из его подпола пасёт вовсе не из-за того, что шинель не стирали с тех пор, как мародёры сняли её с разлагающегося тела. Вернее сказать, без этого тоже не обошлось — всё-таки удивительное дело, сколько следов после себя может оставить такое малое и недолговечное существо, как человек, — однако знающим и зрячим сквозь тривиальное в глаза бросалось другое. Вся заковырка в том, что на одежде остался отпечаток скверны. Так ему говорит портной — наторелый мужчина средних лет в замыленном монокле, пятый в своей династии. Флинс слушает его рассказ об элементарном чутье, мускусе и абсорбентах и в очередной раз убеждается, что не зря взял за правило захаживать именно в эту лавочку: уж больно сговорчивое семейство её держит; к тому же — опытное в определении всего, чему не место в их работе.

Флинс выкладывает портному на стол все причитающиеся к шинели аксессуары, что ему удалось собрать в порядке своего барахольщичества. Потом, призадумавшись, уступчиво предлагает доплату за сложность заказа. Всё-таки выделять и подделывать изрядно провонявшую, потрёпанную жизнью вещь по одному лишь описанию, должно быть той ещё задачкой. Вспомнить только гримасы, какие корчил Никита.

Портной, бегло осмотрев дыры в поеденной молью шинели, сгребаёт её под прилавок и принимается карябать Флинсу расписку. От недолгого контакта с так называемой скверной у этого крепкого детины ничего не должно приключиться, раз уж она не смогла пошатнуть Флинса за столько лет нахождения подле него и, наверное, в нём самом.

Всё отведённое крохотной портновской бумажкой время Флинс проводит в томном ожидании. Безусловно, размеренные дежурства как нельзя лучше скрашивают его будни, однако в притуплённом созерцании приливов и отливов, между терпеливым раскапыванием свежих могил и уходом за старыми, появляется кое-что ещё. Маленькое и незаметное, словно царапина.

Флинс стоит, оперевшись на шаткие перила балкона на самой вершине маяка. Прислушивается: теперь среди дыхания неба и шума бьющихся о скалы волн он выделяет присутствие скверны. Извечное, правда, почти незримое — вынесенное куда-то на задворки внимания, словно соринка в нечувствительном глазу или заноза, вошедшая под кожу так глубоко, что тело забывает концентрироваться на боли. В этом скверна так трогательно красива и похожа на меланхолию, загнавшую его однажды в петлю, что Флинс предпочитает не вникать дальше, чем он уже это сделал.

Когда она пачкает его перчатки скользким красноватым налётом, Флинс спускается к песчаному берегу и смывает её морской водой; когда она оплетает пульсирующей паутиной фонарь и пенится, стоит ей подобраться слишком близко к пламени, Флинс смахивает её сухой тряпкой, натирая кованый ободок до блеска, благополучно забывая о докучающей неприятности на пару дней.

Даже рассматривая готовую шинель без малого спустя месяц, он в тихом сосредоточении размышляет. Портной заверил его: он как мог вытравил порошками и травами всю запашину естественного происхождения, а вот по поводу скверны Флинсу следует переговорить с кем-то ещё. Пальцы в медленном размышлении скользят по замшевой выделке. Значит, пурпурные языки пламени, тонкий контур свежей строчки алых ниток — тоже она; отпечаток Сигурдовой одержимости.

Как просто было бы последовать совету портного и обратиться в гильдию, сыскать умельца с глазом бога, готового выполнить такую малость за символическую плату — ничтожное усилие ради большого дела: избавить Сигурда в его новой жизни от скверны, отрезать ниточку, ведущую и сковывающую с той агонизирующей его частью, что умерла в судную ночь последней.

Сомнений быть не может: проказой он заразился ещё при жизни. Горячей, смертоносной яростью, нечеловеческой силищей, положенной аккуратно на острие клинка. В далёком мерцании звёзд Сигурда таился редкий дар - воля, способная надломить даже марш Охоты. Старшина направлял её запястьем, рукоятью, взмахом лезвия - он никому не доверял так, как своему верному мечу, обещанному глоткам и потрохам презренной Охоты. Для сильнейших из помешательств нет плодородней почвы, чем ниспосланные свыше благословения.

Зараза проникла в его кровь, сплелась с суровым нравом, спряталась в тени его благородного желания защитить родину. Она стала его бичом и незаменимым подспорьем в службе — пока они были едины, Сигурду не было равных среди людей, но и не каждый ратник под его командованием оказывался человеком. Пожалуй, это и столкнуло их впервые.

Прокачка, коптёрка, пробитый до свиста грудак и присяга. Обыкновенная, как потом стали говорить, дедовщина. Бил Сигурд не со злобой, а ради установления порядка, но у Флинса всё равно что-то некстати сжалось и провалилось вовнутрь, когда кулак старшины впечатался в солнечное сплетение. Ни у одного смертного, ежели только он не путался с нечистым, не водилось подобной мощи. Следовало полагать, что у этого правила нет исключений.

Сигурд пронёс скверну в своём сердце до самого конца. Она сослужила ему топливом, осталась отголоском всего, что в этом мире принадлежало ему. В конце концов, всё сущее вынуждено подчиняться единому закону: кости рано или поздно становятся торфом, отпечатки и следы заматывает снегом, размывает волнами; на исходе дня даже тропы тех, кто ходил по земле раньше, перекрывают шаги следующих поколений, - только скверна, бывшая частью Сигурда, остаётся гнить и разлагаться. Она не может умереть и не может жить без него. Лучше этой зацепки у Флинса ничего нет и вряд ли уже будет. Какого человека-полумерку вернёт к жизни ритуал, если он пренебрежёт этим знанием?

Спустя трое суток, в ночь чистого и безоблачного полнолуния (у госпожи Лаумы сегодня, несомненно, ломит рожки), Флинс аранжирует и пересчитывает кости. Двести с небольшим кусочков пазла устилают алтарь как единое целое. Флинс кропотливо соединяет их, одевает в утопанный мех шинели. На краю стола, задвинутого вплотную к его рабочему месту, покоится таз со свиной кровью и разворошенный альбом-книжка — зарисовки углём и графитом, схематичные этюды, пластичные силуэты некоего безликого сослуживца в минуты работы и отдыха. Все они были сделаны исподволь: каждый штрих торопливый в опасении быть замеченным, уличённым в мнимой непристойности, но всё же движимый непреклонной решимостью запечатлеть вечно дышащий и движущийся образ, — будто в предвкушении момента, когда придется восстанавливать его, словно мозаику.

Ближе к полуночи, расставив зажжённые свечи, Флинс ненадолго удаляется, а возвращается уже с грузом: втаскивает в распахнутую дыру подпола тело одного из покойных светоносцев прямо у себя на плечах. Лестница угрожающе скрипит, ступени трещат и прогибаются, но Флинс без труда доносит и взгромождает мертвеца на стол. Он укладывает его рядом с костями, выпрямляет схватившиеся трупным окоченением руки и ноги по швам.

Вскоре этот успешно захороненный по всем бумагам ратник получит второе дыхание. Глаза его станут глазами Сигурда, кожа и кости согреют своды его диафрагмы. Флинс пролистывает альбом зарисовок до нужной страницы с текстом и останавливается, чтобы взглянуть на карманные часы. Ритуалу не нужен исходник — нужен лишь подходящий по вместительности материал и кровь. Для вкуса.

По подобию того, что осталось в его теле смазанным налётом памяти прошлого носителя, Флинс размыкает губы и начинает размеренно читать — строчка за строчкой, слово за словом. Он взывает тихо, но ясно — к силам за пределами лунного света, к именам, спрятанным в глубоком прошлом, когда не существовало ни богов, ни людей. В мыслях неохотно ворочаются, откликаются и всплывают старые письма, горечь, любимый лик отца. Флинс непроизвольно запинаясь на вдохе и внемлет,

внемлет молитве до тех пор, пока неприспособленный к произношению альвийских заклятий человеческий язык не начинает заплетаться. Тяжёлый, плесневелый воздух обжигает натруженное горло. Флинс кончает свою речь, и силы покидают его пустышечное тело.

Он сползает на пол спиной к алтарю, подтягивает колени к груди, опускает на них отяжелевшую голову. На жертвенном одре во всю идёт трансгрессия: плоть скворчит и булькает, точно суп в разогретой печи. Его участие здесь более не требуется. Новое тело Сигурда само себя собирает, сшивает и склеивает по изготовленному костяному контуру. Что-то мокрое капает, липнет к ресницам Флинса - верно, кровавой бульон плещется. Самобранное заклятие бесчинствует ещё пару минут, вбирает в себя весь свет каморки — затем наступает тишина. Такая абсолютная и глубокая, что Флинс веки сами собой опускаются, ведомые фантомной усталостью. Всё, раздаётся в голове финально и непоправимо. Теперь уже всё.

Кажется, в ту ночь он впервые засыпает, как настоящий человек. Ему не снятся сны, не чудятся прикосновения и голоса призраков прошлого, но Флинс уверен, что забылся. Потерялся, придавленный неподъёмным смирением и воцарившимся на душе покоем. Так чувствует себя негодяй, совершивший то, о чём давно грезил. Так горло обвивает нежная верёвка, шепчет вода, облизывает его ладони морок.

Когда Флинс всё-таки приходит в себя, сквозь распахнутый люк более не струится свет. Луна приняла и милосердно унесла его тайну с собою, а Солнцу, вечно сокрытому свинцовыми тучами, неведомо совершённое под покровом ночи преступление. Однако будят Флинса совершенно не эти размышления. Он просыпается из-за звука.

Сигурд возвращается к жизни с резким, надрывным вздохом, как будто его вытолкнули с той стороны пинком. Кажется, он задевает локтем пустой таз, потому что Флинс подпрыгивает на ноги под грохот селестийских труб, а затем спешно хватается за откос алтаря, нависает над ним, едва не потеряв равновесие.

Перед ним расстилается тело Сигурда: обтянутый бледной кожей череп, растрёпанные волосы, блестящий пот, часто вздымающаяся грудная клетка — точная копия, безупречная реставрация без видимых дефектов. Патетичность момента поганят лишь его беспорядочные метания. Сигурд дезориентирован, потерял едва ли не до испуга — Флинсу знакомы эти симптомы. Склонившись над ним в мрачном безмолвии, он упирает руки по обе стороны от чужих плеч, не даёт старшине вырваться и уронить что-нибудь посерьёзнее таза.

- Смотрите на меня, - требует Флинс вкрадчивым полушёпотом, заглядывает Сигурду в лицо. Он будто бы глядит на самого себя сотни лет назад и видит в мальвовых глазах лишь бездну: маслянистую и внимающую, тянущуюся к нему в узнавании: что же ты натворил, Кирилл, что же ты сделал?

Прежде, чем Флинс успевает возразить клубящейся лихорадке, утопленной глубоко-глубоко под человечностью Сигурда, старшина сам подает голос:

— Воды, — просит он истончившимся, сиплым свистом, и Флинса больно жалит укори́зна при виде усилия, которое тот вкладывает в каждое движение, каждый лицевой спазм.

Фляга покоится на своём привычном месте - Флинс достаёт её из-за пазухи и подносит к губам старшины, на ходу развинчивая крышку. Сигурду требуется помощь даже в такой малости: надавить на затёкшие мышцы шеи, приподнять подбородок и придержать его в этом положении, перебирая слипшиеся от крови волосы на затылке.

Сигурд прикладывается к фляге, жадно глотает огненную воду из его рук и даже не морщится — не потому что когда-то был привычен к крепкому по долгу звания, а потому что тоже, как и Флинс, теперь не чувствует разницы.

Такова цена.